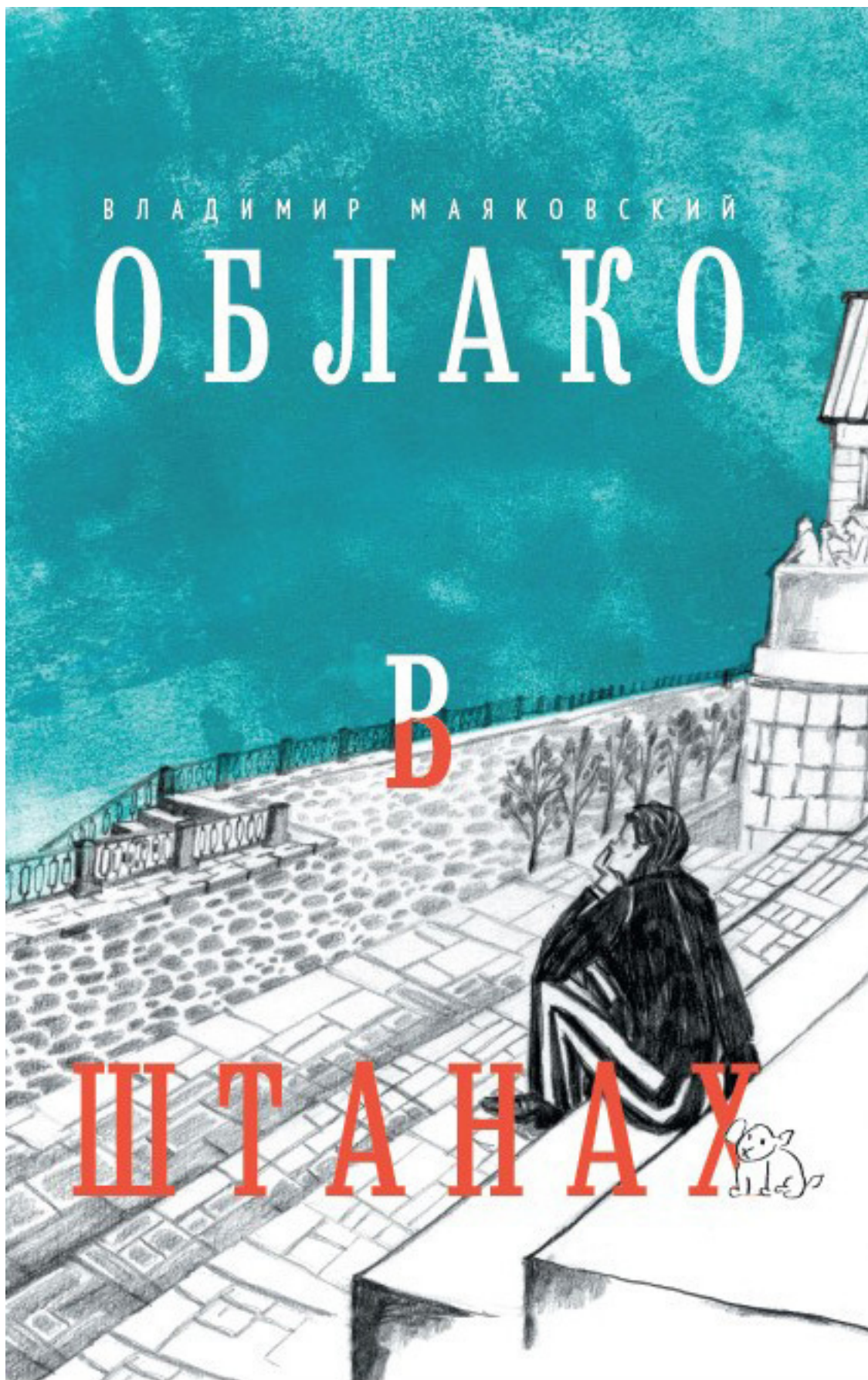


ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ОБЛАКО

В

ШТАНАХ



Владимир Маяковский

Облако в штанах

«Яуза»

1913, 1914, 1915, 1916, 1918, 1923, 1926, 1928, 1930

УДК 821-161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

Маяковский В. В.

Облако в штанах / В. В. Маяковский — «Яуза», 1913, 1914,
1915, 1916, 1918, 1923, 1926, 1928, 1930

ISBN 978-5-00155-287-1

Вашему вниманию представляется сборник стихов Владимира Маяковского. В формате PDF А4 сохранен издательский дизайн.

УДК 821-161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-00155-287-1

© Маяковский В. В., 1913, 1914, 1915,
1916, 1918, 1923, 1926, 1928, 1930
© Яуза, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918,
1923, 1926, 1928, 1930

Содержание

Ко всему	6
Я	13
I. «По мостовой...»	13
II. Несколько слов о моей жене	15
III. Несколько слов о моей маме	17
IV. Несколько слов обо мне самом	20
Нате!	23
Шумики, шумы и шумищи	24
А вы могли бы?	25
Послушайте!	26
Адище города	29
Скрипка и немножко нервно	31
Облако в штанах	34
1	37
2	46
3	53
4	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Владимир Маяковский Облако в штанах. Избранное

© Издательство «Яуза», 2020

© ООО «Яуза-каталог», 2020

* * *



Ко всему



Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо –
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлезил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое –
древних икон –
чело.
На теле твоём – как на смертном одре –
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите –
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолился,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь –
клянусь моей языческой силою! –
дайте

любую
красивую,
юную, –
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля –
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой

Око за око

Убьете,
похороните –
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскочите!

Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта, –
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, –
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им, –
в черных душах убийц и анархистов
зажгись кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.



Святая месь моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердца
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
весь

боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

1916





Я

І. «По мостовой...»



По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли

башен
кривые выи –
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

1913

II. Несколько слов о моей жене



Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.



В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блестящей песни.
В бульварах я тону, тоской песков оваян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!

1913



III. Несколько слов о моей маме



У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает –
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.



И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, –
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

1913



IV. Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибою смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?
А я –
в читальне улиц –
так часто перелистывал гроба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.
Это душа моя
кочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромо́й богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913





Нате!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверев, будет тереться,
ощетинит ножки стоголавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

1913

Шумики, шумы и шумищи

По эхам городов проносят шумы
на шепоте подошв и на громах колес,
а люди и лошади – это только грумы,
следящие линии убегающих кос.

Пронесут девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесет грузовоз.
Рысак прошуршит в сетчатой тунике.
Трамвай расплещет перекааты гроз.

Все на площадь сквозь туннели пассажей
плывут каналами перекрещенных дум,
где мордой перекошенный, размалеванный сажей
на царство базаров коронован шум.

1913

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

Послушайте!



Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной?



И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к Богу
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянется –
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –

значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914



Адище города



Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи –
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз –
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла –
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913



Скрипка и немножко нервно



Скрипка издергалась, упрасивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, Хорошо, Хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»



«Как это?»
А когда геликон –
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» –
я встал,
шатаясь полз через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору –
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте –
будем жить вместе!
А?»

1914



Облако в штанах

Тетраптих



Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъяздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться –
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите –
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона –
хотите –
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.



1



Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», – сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно

и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая –



большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,

обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, –
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождевки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, –
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы –
большие,
маленькие,
многие! –
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, –
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете –
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните? Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», –
а я одно видел:
вы – Джоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаря бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздражили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев, –
а самое страшное
видели –
лицо мое,
когда

я
абсолютно спокоен?

И чувствую –
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алю!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, –
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.



Люди нюхают –
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!

Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!



На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так с трах
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, –
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!



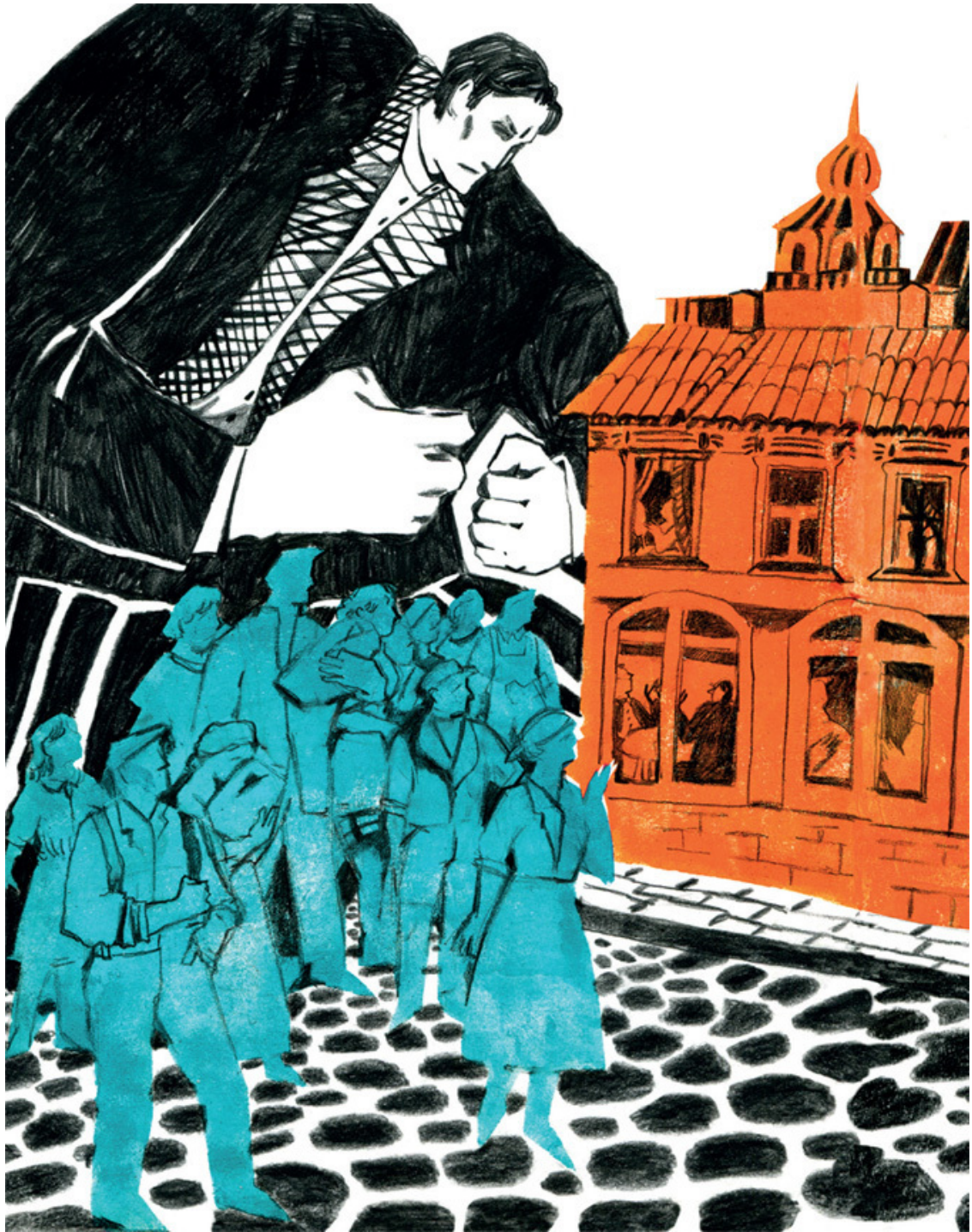
2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал –
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак –
пожалуйста!
А оказывается –
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтаются в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипчивают, рифмами пиликаая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая –
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица муку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла
пухлые taxi и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки плоче.



Город дорогу мраком запер.
И когда –
все-таки! –
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:

«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщъ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея –
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется – «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами –
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.



Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их –
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне –
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,

феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю –
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стенья,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заspanная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, –
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы;
от копоты в оспе.
Я знаю –
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымалывать милостей времени!
Мы –
каждый –
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»

Но мне –
люди,
и те, что обидели –
вы мне всего дороже и ближе.

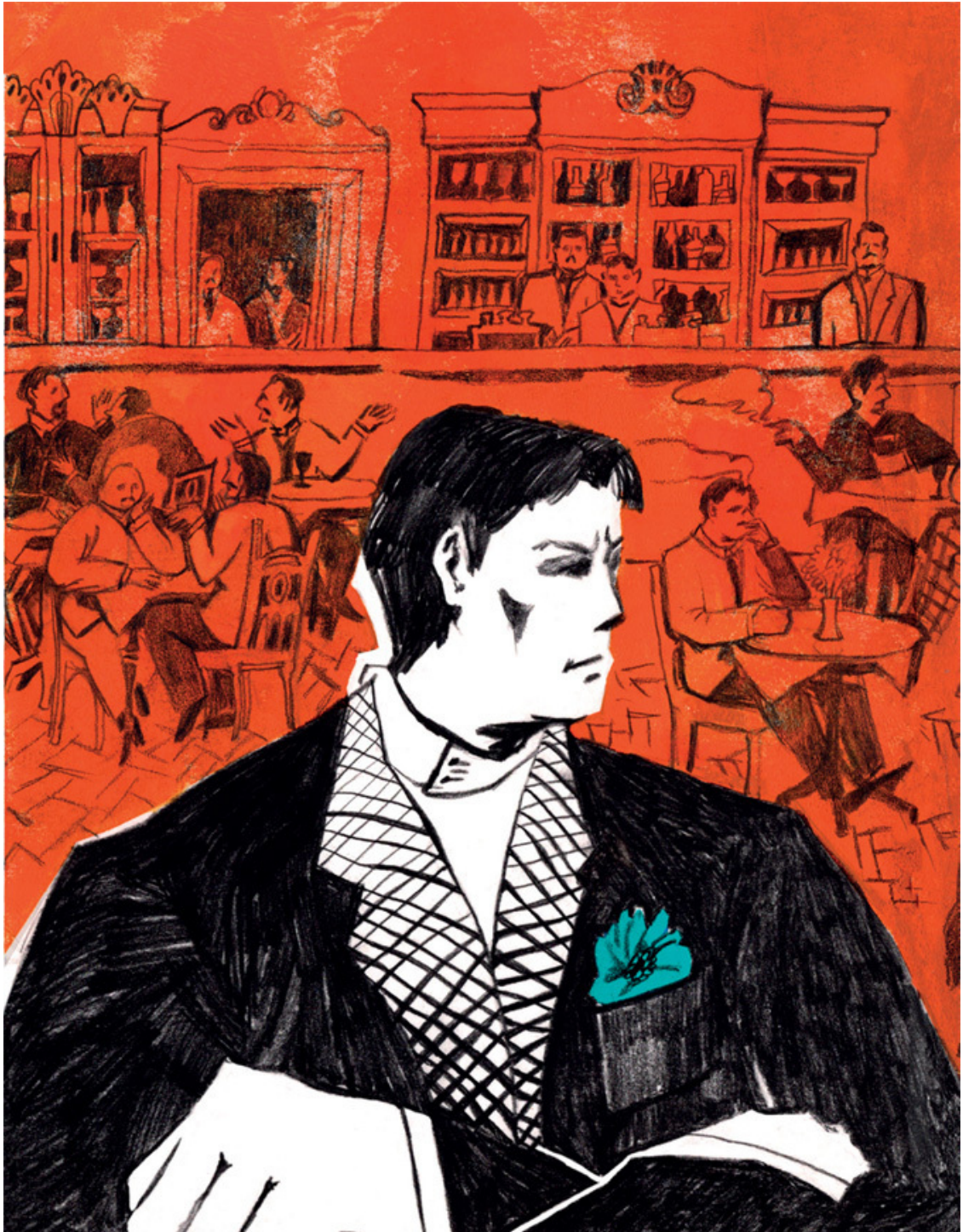
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабресный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю –
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! –
и окровавленную дам, как знамя.



3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И –
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк –
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом

кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной –
«изящно пляшу ли», –
смотрите, как развлекаюсь
я –
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут –
губы вещицы
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путях,
вытянул руки к кафе –
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете –
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк –
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук –
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закишие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пусть земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!

Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника –
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.
Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите –
небо опять иудит

пригоршню обрызганных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеv.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу – глаза круглы, –
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть, самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пыливой сединой волхвов,
и придут они –
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.



И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4



Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?

Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь –
я уже начал сутулиться.
В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, –
перехихикиваться,
что у меня в зубах
– опять! –
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах –
да! –
на ресницах морозных сосуллек
слезы из глаз –
да! –
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лоцился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.